

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XII

№ 34 - 35

Апрель - Сентябрь 1957 г.

Репуха

— вселенская чепуха —

I.

Русская «чепуха» выговорилось у Чехова, как латинское *Репуха* и обернулось — и уж не просто *Репуха*, а чепуха вселенская — вздор, обман, ложь, призрак, морок, неразбериха, бестолочь, чужь.

«Чепуха» — рефрен раздумий Чехова над жизнью, — чепуха, чепуховина — чепушенция.

*

Моя далекая память — 80-тые годы — время Чехова — Москва. Святки. В Манеже на Моховой елка — «народное гуляние». От входа — стены в елках. И в этом елочном царстве они кажутся кустами можжевельника перед дремучей елью, украшенной серебряными шарами — снизу с яблоко, а к звезде мерцающий горох. Елка не московский обычай — проходят, не задерживаясь, и видны только детские пальчики. Толпятся при входе около непомерной Коровы и по другую сторону от елки, у столбов. Мастеровые, фабричные, мелкие служащие, прислуга — не елка, а круг елки диковинки. При входе Корова и столбы к эстрадам, где поют малороссийские песни, пляшут и разыгрываются смешные сцены — еврейские и армянские. Три гладких столба, точеные, без мыла никак, а лезут. На среднем, выше соседних, блестит самовар; на другом сапоги, — голенищами на хват, — видна только одна, с левого оборвана — говорят, маляр с Болота, свой под куполами, добрался до сапогов, да, ухватясь за голенища, оборвал и полетел вниз — со счастьем в руках убился насмерть. А на другом столбе — гармонья, раздвинута — некуда, сама заиграет, бери в обе лапы.

Ни на гармонью, ни на самовар никому нет счастья.

К Корове за народом неподступно. И только упорство моего любопытства — я пролез и всё вижу.

Корова — обыкновенная рыжуха, и на картинках такие рисуют, но по размеру и рога — слона забодает. Надо влезть в Корову и по мягкому «вареному» языку проникнуть в пищевод, спускаться, как в анатомии, сначала в желудок, потом по лабиринту кишек, и по прямой кишке вылезть под хвостом на свободу. Около хвоста столик — полдюжины рыжего трехгорного и пивная закуска; раки, снетки и соленые сухарики — победителю награда. Редко кому удается одолеть анатомию, и залежавшиеся раки скучают. Корова обыкновенно выблевывает отважных путешественников. Запутавшиеся в кишках или очумелые в теми желудка выпячиваются раком, и из морды, то и дело дрыгая, высовываются ноги.

Мне посчастливилось — на моих глазах из-под коровьего хвоста показалась взбученная образина с живыми ссадинами, а за ней кумачные клочья разодран-

ной рубахи. Каким восторгом встречен был победитель: имя сапожного подмастерья с Пятницкой — Филиппок станет самым громким в Москве. В разодранной рубахе, подергиваясь, в прилипших портках, щерясь во всю рожу, он по-детски пальцем протирал глаза; ему было не до пива, не до подарков, и только дух пестрести.

На эстраде раешник, наряженный во фрак и модные лакированные бронзовые ботинки, подплясывая, безнадежно выговаривал (его масляный голос с насмешливой ржавью на весь манеж):

Чепуха, чепуха,
 Это просто враки.
 Чорт намазал мелом нос,
 Напомадил руки,
 И из погреба принес
 Жаренные брюки.

«Чепуха» — припев Чеховских раздумий над жизнью и судьбой человека — свирель с немудреным ладом, наигрывающим чепуху — пропад человека и гибель мира.

«Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана, а самые низкие ноты почему-то напоминали туманы, унылые деревья, серое небо. Пропадет всё не за грош, а пуще всего людей жалко». («Свирель»).

2.

Явление жизни — обреченность: цвела и отцветает. Цвет жизни — смех — сказка слово — песня.

Проходит жизнь, спутники живого — беды, напасти, грех — совесть и механизм дней — чепуха.

Не распаленными глазами демона, выгнанного на землю, не Гоголем посмотрел Чехов на чепушный мир, а глазами любопытного замечательного человека, и не гоголевским резким сквозящим смехом отозвался на кавардак, уродство твари Божьей, — добродушный легкий смех вызвала в нем чепуха, и чепуха повернулась лицом чепуховины.

Какой чепуховиной разыгрывается чепуха человеческих дел и желаний души жизни!

Чехов блистает чепуховиной. Первые рассказы Чехова неуваждаемы. Когда я читал, я превращался в Поплавского («Оратор»), и было мне море по колено.

*

На «чепуховине» не разгуляешься. Чепуха (Ренуха) кусается. Веселость духа развеялась и смех погас. Чепуха не ляпка, а зубом — вор, мошенник, обманщик, мерзавец, — не до смеха.

Из веселого забавника Чехов превращается в резонёра. Постарался Григорович: Григорович раздул пламя Достоевского и погасил веселый огонек Чехова.

Характеристика столпов и устоев чепушиного общества не уступает гоголевскому Собакевичу. Достается и самому укладу жизни: «Моя жизнь», «Записки неизвестного», «Дуэль». Праздность, болтливые успокоительные полумеры («Дом с мезонином»).

Его обличения — отголосок от Кантемира, Фонвизина, Грибоедова, Салтыкова и «Абличителей» Курочкина и Буки-ба. Стародум, Штольц — недаром герой «Дуэли» — фон-Корен.

И все его революционные обличения никого не трогают. Это всё равно, как, почесывая брюшко, коты ругают: мерзавец, плут, лежебока.

На революционные обличения революционеры не отзывались. «Кладбищенство». Чехов — безыдейный писатель. «Нытик». Что означает: никакой политической программы. (Эка, дурак, сморозил!) Это не Горький — словесное бурение. Правда — «Палата № 6» — тронула Ленина, но не революционностью, а угрожающей чепухой: он вышел по прочтении повести, не мог оставаться в комнате, ему казалась, он заперт в — Палате № 6.*)

Чехов свой у «либералов», среди обличаемой им «середины».

Я объясняю его необыкновенной деликатностью, ведь только раз сорвалось с гневом: «Соломон, сжегший деньги, свое наследство» («Степь»).



Однажды лето я прожил под одним кровом с братом Чехова Иваном Павловичем. Говорили, кто знал Чехова, о необыкновенном сходстве братьев. Конечно, брат, как и однофамилец, не мера, но порода скажется: наше соседство было мне никак не тягостно — всегда внимательный, предупредительность и деликатность. Иван Павлович учитель. Я подумал: учитель — ошибки — как возможно не сердиться? А Чехов — врач — и у кого еще так выговорится: «Един Ты еси без греха».

Отсюда его «человечность» — суд надчеловеческий: «обвинить никого нельзя» («Враги»), и решение судьи не бесстрастное и безразличное: «проходи дальше», а участливое, жалость и сострадание. Теплота глаз, его голоса — слова («Анюта», «Хористка», «Трагик»). По таким глазам — мир детей и безгрешное звериное. Черствому сухарю не под руку. О детях — «Степь», «Страстная неделя», «Житейская мелочь», «Веглец», «Спать хочется», «Происшествие». А о зверях — «Каштанка», «Велолобый» (Волчица и щенок), «Нахлебники». И мне стало понятно, почему все чеховские обличения никак не трогают — больного не упрекают, на больного не кричат.

Немощи человека, боль и терпение приближают к Богу («Мороз»). «Добрых больше, чем злых» («На пути»).



«Чепуха» — кавардак и бестолочь — душа жизни. И даже беда не исключение: несчастье не соединяет, несчастные друг другу враги («Враги»).

«Чехов не сказочник, но сказка для него не закрыта («Степь», «Счастье»). Чудесное для него лишь больное воображение.

Огромное здание Рениксы (Renyxa) — заколоченные окна и двери.

На долю Чехова — маниловские эмпирии. И Чехов Маниловым парит: люди бросят эти фабрики, амбары, канцелярии и куда-то уйдут, на их смену явятся другие и другой породы, и всё пойдет по-другому, и законом не будет чепуха.

«Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть». («Случай из практики»). Чехов верил в человека («Рассказ старшего садовника»).

*) А. И. Ульянова-Елизарова. «Воспоминания о Ильиче». Москва, 1934 г.

3.

На Чехове с ума не сходят, сказать «зачитался» — к Чехову никак. Рассказ искусно отточен, не ухватить выдрать слова, пустых мест нету, но и нет дразнящих мыслей.

Всё завершается на глазах в привычной обстановке и круге прописных чувств, ни тайн, ни изворотов. Задумываться не над чем.

Для нетребовательного или измученного загадками — Чехов как раз. Читать Чехова, что чай пить, никогда не наскучит.

Оттого может так и спокойно. Чехова будут читать и перечитывать.

Комнатные рассказы Чехова, как будто не было ни Гоголя, ни Достоевского, ни Толстого, ни Тургенева.

Документальность: сад в «Черном монахе», «Амбар» («Галантерея») в «Три года», «Фабрика», «Случай из практики» и в «Бабьем царстве».

4.

Чехову никаких снов не снилось, хотя о снах он поминает («Дуэль»). Мир для него скван Эвклидом, — его мир Реникса, с заколоченными окнами — простая обстановка.

И даже там, при повышенной температуре — где для Гоголя, Достоевского и Толстого пролет в другой мир — для Чехова только галлюцинация по Бюхнеру, Фохту и Малешоту — из образов мысли «больного», возможно с бредовой завишкой, но ничего нового, никаких «клочков и отрывков» другого мира.

И когда я задумал нарисовать из Чехова, как я рисовал из Гоголя, ничего не нашлось, — «прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками» — этим исчерпывается рисунок.

Этот мир он встретил смехом. Смех погас, начались обличения. Выговорившись, Чехов пустился парить в эмпиреях — все эти разглагольствования о грядущем рае на земле и чепушном мире, да ведь это не только чепуха, а чепуховина, над которой он однажды добродушно смеялся.

Чехов верил в человека.



Умный человек — но где? — чепуха показалась еще чепушнее — неизлечимый больной ищет помощи, а средств никаких облегчить.

Распариваться в эмпиреях — зарাপортуешься. Нет, ни смех, ни риторика — ничего не поправишь («Студент»). Обреченность и гибель — закон существования («Сумерки»).

А заря — радость и правда, но это из эмпирей.

И пусть новые люди установят разумный порядок, и все будет рассчитано и предусмотрено по науке фон-Корена, и водворится на земле радость — «веселая жизнь» и Правда-просвещенная «справедливость», но куда девать «тяжелых людей», которые непременно сорвут всякий порядок, и куда девать всех этих навязчивых со своими убеждениями «жаб», «Печенегов» и Пришибеевых, куда девать колдующую любовь, под взглядом которой ерунда получает значение («Хорошие люди») и как быть с перевернутыми словами, когда слышится не то, что говорится, а что ждешь («Брак по расчету»), и чем победить страх — не грозы, не покойников, не привидений, а страх самых обыкновенных уличных звуков, страх своих мыслей, страх жизни, страх неизвестного («Страх»). И как и чем обуздать амурную кувырколлегию, словцо Лескова, любовь непокорна и неожиданна —

приходит, не спросит, уйдет, не скажется: — любишь — не любит, разлюбишь — полюблю («Три года»). И куда девать жадных зверовидных баб (Ариадна, Сусанна, Аксинья) и рассчетливое скотоподобие («Анна на шее», «Супруга», «Попрыгунья»).

И наступит уже не чепуха, не чепуховина, а чепухенция.

Здание Рениксы — не вижу дверей, окна заколочены — ни туда, ни сюда. И никакая новая порода — никакой разумный порядок в «производстве и распределении», никакие пути не приведут к выходу.

Чепуха — единственный «смысл» жизни.

Все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво — мираж.

5.

Из пропада песня — этот голос и в скрипке и в виолончели — первородная сияющая боль жизни, от скрипа до белого звука.

Под конец жизни, измаявшись, отзывчивое сердце — да и свое неизлечимое, расставаясь, Реникса нарядилась в весеннее белое — вишневый сад. И горечь расставания зазвучала — вы слышите песню, на мотив из завойных романсов Чайковского, любимой музыки и церковных песнопений — памятник детства.

«О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда в сад, счастье просыпалось вместе со мной каждое утро и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. Весь, весь белый. О, сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы, опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!» («Вишневый сад»).

Заколдованные двери Рениксы вдруг распахнулись — как на этом свете всё быстро делается («Горе»).

«И идет он по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!» («Архиерей»).

Это случилось 2 июля 1904 года — помер Чехов.

6.

«Что мне кажется прекрасным и что я хотел бы сделать, — это книга ни о чем, книга без всякой внешней опоры, которая держалась бы сама собой, внутренней силой своего стиля, как держится в воздухе земля, ничем не подерживаемая, книга, которая почти не имела бы сюжета, или, по крайней мере, в которой сюжет был бы невидим, если это возможно». (Из письма Флобера к Луизе Колз, 16 янв. 1852 г.).

Всегда сюжетные рассказы Чехова держатся сомкнутым строем фраз и лишь кое-где ассонансы и подглагольные воденят и ломают линию. В словесной чепухе для Чехова оставалась незыблемой и не вызвала сомнений грамматика — литературно-книжная речь с правилами иностранных заимствований, чем и объясняются размягчающие ассонансы, чуждые движению природной русской речи. Кроме книжной грамматики, Чехов верил в легендарную евангельскую «простоту» Пушкинской прозы, которая на самом деле не больше как перевод с французского. Для достижения этой простоты он употреблял при описании природы штампованные определения и только раз, со своего глаза, сравнил звездное небо с начищенными пятиалтынными — мелкая серебряная монета (15 копеек). А глаза с ржыми копейками.

Его глаза нормальны, пелена Майи плотно сплошь, восприятия ограничены. Всякое отклонение от нормы — чепуха.

Среди художников Семирадский, Левитан, а «детский» рисунок не по нем — чепуха.

«Сереза рисовал людей выше домов и старался передавать карандашом, кроме предметов, и свое ощущение в виде сферических дымчатых пятен, свист в виде спиральной нити. В его понятия звук тесно соприкасался с формой и цветом: раскрашивая буквы, всякий раз неизменно звук «Л» красил в желтый цвет, «М» в красный, «А» в черный» («Дома»), — какая чепуха!

Чехов читал Лескова, знает Толстого, Достоевского, Писемского; Ибсена, Владимира Соловьёва (Пародии на декадентов), Тургенева, Гончарова, Вельтмана («Саломея»), Волеслава Маркевича, Мельникова-Печерского, Мопассана.

От Гоголя «Тарас Бульба» и от Аксакова — «Степь», от «Лесов» Печерского — «Бабье царство», от «Соборян» Лескова — «Хорошие люди», от Макса Нордау — «Черный монах», от Горького — «Мужики», «Ворон», «В овраге», а о Слепцове он нигде не упоминает, а если от кого вести Чехова, то именно от Слепцова. Василий Алексеевич Слепцов (1836—1878), основатель первой женской коммуны в Петербурге, секретарь «Современника», ближайший к Чернышевскому, автор «Трудное время», рассказы «Питомка», «Спевка» и провинциальных очерков («Осташково») — словесно и душевным настроением предшественник Чехова.

Как и Чехов, исповедовавший пятикижие русских нигилистов шестидесятих годов: Бюхнер, Фохт, Малешот, Вокль и Миллер.

Слово игра — пульс слова — Чехов не Гоголь — искусство слова — Чехов не задумливался.

Он знал церковно-славянскую грамоту — ирмосы, кондаки, тропари, икосы, каноны и стихиры на восемь гласов, но имени нашего славянского «леттриста» нигде не поминает: медики и естественники в словесные дебри не заглядывают, а между тем и кто еще? Только Чехов дает образ Епифания Премудрого.



Епифаний Премудрый (феолог), монах Троице-Сергиевой Лавры (конец XIV — начало XV в.), современник Андрея Рублева, заворожил словоплетением русскую книгу XVI в. Епифаний Премудрый из слов плел венки: слово ему цветы. В его глазах пестрое поле, он брал цветы по цвету на ленту, выговаривая: глаза его голоса были цветные. Или по-ученому: «Плетение словес «Епифания — близкий аналог» плетеного орнамента». «Слово, как таковое, часто теряет здесь свои выразительно-смысловые функции; элементы речи объединяются не столько логической связью, сколько на основе своей фонетической стороны, путем рифмы, ассонанса, путем гибкого видоизменения и сочетания слов одного корня».

Потом пришел ученый афонский дидаскал серб, Пахомий Лагофет и сапожницами, ну, топтать цветы.

Слово не пень, не выкорчить, слово — купальский цветок, без заклатья сорвать не дается. Епифанию откликнулся узорным краегранесием (акrostихом) монах с Хутины, Маркелл Везбородый, а в наше время Андрей Белый и Хлебников.

Словесный уклад Пахомия признан был как общедоступный на среднего читателя, а Епифаний Премудрый — пускай себе верхушками забавляется — «писатель для писателей». Епифаний известен своим житием Стефана Пермского, а первое его сочинение житие своего учителя Сергия Радонежского (1418 г.) заерзал и подчистил афонский сапог.

«Да и аз многогрешный и неразумный, последуя словеси похвалений твоих, слово поплетуши и слово плодаци, и словом почтити мянщи, и от словес похваления собирая, и приобретаю, и приплетаю».



В «Святой Ночи» Чехов рассказывает со слов послушника-перевозчика о иеродиаконе Николае, «а я читаю Епифании, сочинял акафисты».

В Богородичном акафисте есть слова: «Радуйся вышото неудобовосходимая человеческими помыслы: радуйся, глубино неудобозримая и ангельскими очима! Радуйся, древо светло-плодовитое, от него же питаются вернии, радуйся древо благосенно-лиственное, им же покрываются мнози».

«Этого поэтического человека, вышедшего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов».

«Кроме плавности и велеречия, нужно еще, чтоб каждая строчка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так поставить, чтоб оно было гладко и для уха вольготней».

«Радуйся, крине райского прозябения», сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто: «крине райских», а «крине райского прозябения!» — так глаже и для слуха сладко. Так именно Николай писал!»

Незадачливая доля Словесности — ни к одному искусству не предъявляется столько посторонних требований, как к искусству слова — словесности. Нравоучительная мораль, занимательность, развлечение, и всё это под именем утилитарное, тянется руками расправиться по-свойски. И слово бултыхает, теряя глаза — свой голос и свою краску.



С первых книжек издания Суворина я шел за Чеховым. В те годы — 80-е и 90-е выходили переводы Мопассана, ему покровительствовал Толстой. Я читал Мопассана, не пропуская ни одного рассказа, как Чехова, но чувства были разные. Не одно любопытство как к Мопассану, свое горячее — неоправданное — свой пропад — Чеховская свирель сопровождала чтение.

Пропад отравы моих чувств.

И тогда, с моими богатыми глазами на кипящий мир в пожаре красок и чудовищных форм, как и теперь, оставшись с дразнящим миром сновидений — пропад.

Веселость духа и пропад потянули меня к Чехову. И идя по годам за Чеховым, в далекой памяти, гимназистом, я вошел в Московский Манеж: вологодская елка «Дева днесь Пресущественного рождает», столбы с солнцем-самоваром, музыкой-гармонией и сапогами-землей, египетской Королевой-лабиринтом и «чепуха» — покров загадкам, блеску и желаниям.

Чепуха, чепуха —
Это просто враки,
Молотками на пуху
Сено косят раки...